

ИЗ ДНЕВНИКА

Публикация Н.М. Пирумовой

Дневник Н.А. Герцен состоит из двух частей. Первая воспроизводится в настоящей публикации. Вторая помещена в т. 96 «Литературного наследства», в работе «Огарев, Бакунин и Н.А. Герцен-дочь в «нечаевской истории» (1870 г.)». И та и другая запись носят ретроспективный характер¹.

В течение трех дней (26, 30 июля и 1 августа 1869 г.) последовательно и, надо думать, мало отклоняясь от фактов, Н.А. Герцен изложила ход событий недавнего времени, связанных с неожиданным признанием в любви к ней итальянца Пенизи. Публикуемый текст логически не завершен. Запись обрывается на четырнадцатом листке оригинала; последующие страницы 15–20 вырваны – возможно, автором дневника или же Герценом.

Кто же был новым претендентом на ее руку и почему его притязания привели Наталью Александровну к психическому расстройству, ставшему наиболее трагическим событием в последние месяцы жизни Герцена?

27-летний сицилиец, граф (?) Пенизи был, по-видимому, разносторонне образован, богат, талантлив и слеп. В 1860-х годах он жил во Флоренции, писал статьи по естественным наукам, занимался историей, переводил Тургенева и Герцена на итальянский язык... Издавал ли он свои произведения, до сих пор не установлено. Сведений о нем сохранилось очень мало.

С семьей Герцена Пенизи познакомился в начале 1867 г. На Герцена он произвел впечатление незаурядного человека. «Он компонист, играет превосходно на фортепьяно и поет. Говорит сверх своего языка – совсем свободно – по-франц(узски), по-немецки и по-английски – пишет (т.е. диктует) стихи и статьи, знает все на свете, естественные науки, историю и пр. Я еще такого чуда не видывал – его водит человек по улицам; очень красиво одет...» – так писал он Огареву 6 февраля 1869 г. (XXIX, 28–29).

Часто встречаясь с Пенизи, Тата не подозревала о его чувствах и скептически относилась к его любезностям. «Сицилианец с кипучей кровью», который «конечно, преувеличивает – может быть, и несознательно (?)», – так охарактеризовала дочь Герцена своего поклонника и его чувство к ней². Да и не слепой музыкант, а князь А.А. Мещерский занимал ее в то время (и позже). Герцен же в мае 1869 г., так же как и его дочь, еще ничего не знавший о притязаниях Пенизи, был весьма обеспокоен возможным браком ее с Гуго Шифом.

Герцен писал дочери 11 мая 1869 г.: «Важнейшее в твоём письме, разумеется, то, что ты писала о Шиффе-jun(ior'e). Конечно, шутить тут нечего и надобно с самого начала отрезать, как ножом. Я его считаю очень хорошим и очень дельным человеком – но неспособным на светлое счастье и, сверх того, чудак; чудачки с сильными страстями могут подыматься до невероятной тирании... (от которой сами страдают еще больше) – все это заставляет отстраниться, – я вполне верю в твой разум и очень рад, что ты получаешь и в этом больше доверенности ко мне. Меня всегда щемило твое абсолютное молчание о Мещерск(ом) и о сущности твоего отношения. Сколько раз я ни давала тебе повода – ты ускользала» (XXX, 108).

Но Тата писала о Шиффе и молчала о Мещерском именно потому, что в первом случае ее не связывало собственное чувство. «Отрезать», как хотел отец, она не спешила из-за жалости к Шиффу – человеку милому, деликатному да к тому же другу ее брата Саши, у которого и жила она во Флоренции в то время. На вопрос о Мещерском ей все же пришлось ответить. «Теперь я знаю только одно – что мы с М(ещерским) в очень хороших, дружеских отношениях. Было время, когда он год тому назад был во Флоренции, в которое он так сильно ко мне привязался, что ему было очень трудно уезжать по временам (...) С моей стороны признаюсь, что он для меня одна из самых симпатичных личностей, которые я когда-либо знала, я его очень люблю и уважаю и имею большое доверие в его советы»³.

А вот что писала по этому поводу Е.С. Некрасовой Н.А. Тучкова-Огарева. «Я думала, что они поженятся, потому что Н(аташа) говорила (...) что Мещерский один ей нравился; я думаю, что она не вышла за него только благодаря нерешительному своему характеру – нужно было ее подталкивать, а я не сделана для этой роли да и не была убеждена в ожидаемом ею счастье»⁴.

Предположение Огаревой представляется вполне основательным. Именно нерешительность Таты и недоверчивость ее к своему и чужому чувству стали причиной ее возможного отказа Мещерскому. Таков был фон, на котором возникли ее сложные отношения с Пенизи. В них опять же сыграли роль нерешительность ее характера и жалость к больному.

Уже после того, как последняя известная нам запись в дневнике была сделана, Тата в страхе, что отказ ее погубит Пенизи, продолжала видеться с ним. 24 сентября она писала от-

цу: «Раз, когда он был опять в ужасном состоянии, в отчаянии, и умолял меня сказать правду, сказать, не имею ли я ни малейшей любви к нему, я ему сказала правду, отвечая: “Un petit peu”^{329*}».

Герцен был напуган. 29 сентября он писал Огареву: “Она вовсе не прочь идти замуж за слепого, хотя прямо не говорит. Это такое несчастье было бы, от которого и без диабета лопнут последние силы (...) У меня мутится в голове от мысли, что именно Тата – это светлое и гармоничное существо – убьет себя такой нелепостью. Пишу ей сегодня. И что тут делал Саша – как он допустил?” (XXX, 201).

Занятый в это время поисками постоянного жилья в Париже, Герцен стремился скорее вывезти Тату из Флоренции. Она же (6 октября) писала отцу о Пенизи: “Небойся за меня, – я все буду холоднее с ним, – письменно еще легче – конечно, но не хотела бы, чтобы ты из боязни за меня торопился, взял квартиру, слишком дорогую или неудовлетворительную, – потом пришлось бы жалеть. – Поэтому еще раз прошу тебя, не думай, что меня нужно *спасать*, – не решай ничего второпях из-за меня”.

Это письмо Таты к отцу было последним перед ее болезнью. Успокаивая отца, надеясь на свои силы и в то же время живя постоянно в напряжении и страхе из-за настойчивых притязаний Пенизи, грозящего самоубийством или убийством близких ей людей, – она все больше теряла контроль над своим рассудком.

Месяц спустя Герцен так описал Огареву ход событий: «Когда Пенизи увидел, что надежды нет, он написал Тате и Саше самые дерзкие письма, с угрозами. Тата тут же Саше сказала: “Это Гервег”, – но, глубоко обиженная и униженная, совсем растерялась. Пенизи ее уверил, что у него на откуп убийцы, связанные с ним тем, что он знает их злодейства и может погубить (пожалуй, это и правда), – и от страха за Сашу и Гуго Шиффа, который себя вел великолепно, она дошла до полного помешательства» (XXX, 238).

Получив одну за другой три телеграммы от сына с известием о состоянии Таты, Герцен немедленно выехал во Флоренцию. Его заботливость самым благотворным образом повлияла на психику дочери.

Как только путешествие стало возможным для Таты, Герцен выехал с ней в Геную. 20 ноября он писал Огареву: “В разговорах Тата касается всего, – побаиваюсь, – у меня есть письмо к ней Мещер(ского) – тоже боюсь отдать. Он же уехал в Россию. Может, он-то бы и спас ее. Бедная – зачем расточила силы свои, зачем запуталась... и зачем не бежала ко мне или я не был с ней?” (XXX, 259).

Все происшедшее было последним ударом для Герцена: “Меня эта история сильно потрясла. Это стоит кораблекрушения Луизы Иван(овны) – всего 52 года – и тех минут, когда я держал Лелю под ножом оператора. Удара этого я вовсе не ждал – напротив, я готовился в Париже к работе. Не знаю, скоро ли слажу с собой – но теперь не могу ничем заниматься. старею мыслью” (XXX, 266). Это выдержка из письма к сыну от 29 ноября. Несколько раньше он писал Огареву: “Этот удар действительно не по силам...” (XXX, 240). Трагическое значение для Герцена истории с Пенизи, охарактеризованного Татой как “Гервег”, как бы подтверждало мысль о сопряжении концов и начал, к которой не раз обращался Герцен в последние годы.

Текст дневника печатается по фотокопии РГБ с автографа *ВН*. Впервые опубликовано на английском языке в кн. М. Конфино (см. ниже прим. 1).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹См.: “The Daughter of a Revolutionary, Natalie Herzen and the Bakunin – Nechayev Circle”. Edited with an Introduction by Michael C o n f i n o. L., 1974, p. 416.

²Письмо Таты к Герцену от 3–8 июля (см. его выше в наст. разделе – п. 93).

³Там же, п. 88.

⁴АО, 308.

(Флоренция.) 26 июля 1869

В каком я затруднительном положении! Что мне делать, с кем посоветоваться? Не успела я успокоиться насчет бедного Гуго, как приходится еще больше беспокоиться насчет бедного П(енизи). У него не та крепкая, но смиренная натура, как у Гуго; южная кровь в нем кипит. Бог знает, не в самом ли деле он сойдет с ума или, пожалуй, хуже что случится!

А как припомню, ведь я решительно ни в чем не могу себя обвинить! Он всегда был чрезвычайно любезен со мной, но все его замечания я принимала за глупые комплименты. Как мне было верить, прошлого года, напр(имер), что он в самом деле жалеет, что я уезжаю из Флоренции. Мне в голову не приходило, что он говорил серьезно, и думала я про себя: “Охота ему по-пустому столько слов тратить. Ну что же, соврет мне раз шесть, семь – не больше, видели его во время всего сезона, что ему за дело, тут ли мы или нет?”

Когда я вернулась в конце апреля в нынешнем году, меня немножко удивило, что он явился сейчас же на следующий день и говорил, как рад, что вернулась. Это, как и все любезности и лестные замечания, которые он мне делал, – я принимала с внутренней насмешливой улыбкой в убеждении, что это все итальянское фразерство, которое большая часть итальянцев считает необходимым для разговора с женщинами. Я его даже останавливала по временам, среди речи, говоря ему шутя: “Вот, вот является опять итальянец!”

Давно уже он просил меня позаняться им; в первый раз, больше двух лет тому назад, он, полусхутя, попросил меня дать ему уроки английского языка (я, шутя, обещала); однако время от времени он (то) напоминал мне мое обещание, то спрашивал, не согласна ли я дать ему уроки в немецком или русском языке.

30 июля

Постоянно гости; кто мог это ожидать здесь в Antignano? А между тем мне трудно продолжать: едва нахожу время. А отказывать нельзя, когда кто-нибудь часа 3–4 и больше проездит, чтобы повидаться с нами. Положение хуже, чем в городе: гость остается непременно целый день.

Итак, несмотря на то, что П(енизи) меня просил позаняться им и что мне даже хотелось исполнить его просьбу, потому что мне было как-то жаль его, тем не менее, я все отстраняла, выдумывала разные предлоги, потому что распространяли разные слухи. Все говорили: будьте осторожны во всех возможных отношениях – и так хорошо напугали Мальвиду, что она боялась его часто пускать в дом. В нынешнем году я была самостоятельнее, живши у Саши, – да и гости могли приходиться, не боясь мешать Мальвиде спать. Раз вечером П(енизи) меня опять попросил учить его, в этот раз писанию. Мне хотелось быть ему хоть в чем-нибудь полезной; я знала, что он часто меланхоличен, печален, – словом, я приняла, радуясь, что я могу сделать что-нибудь для него. Меня интересовали его работы, он мне приготавливал множество (палочек и букв) всякого рода, а в конце прибавлял несколько строк в виде письма, с разными любезностями, которые я опять-таки же принимала за фразерство, принимала их с улыбкой и повторяла ему, что это “Итальянец...” На него столько наклеветали, что я решительно не знала, верить ему или нет, но большей частью не верила.

Наконец, раз вечером, он мне передал большое письмо, прося меня прочесть в его присутствии. Я попросила позволить мне прочесть одной на досуге – он не согласился: я должна была читать при нем.

1 августа

Содержание легко отгадать, но все-таки я очень удивилась, потому что не предполагала, что он уже больше полутора года любит. В письме этом он мне рассказывал, как страдал, когда я стала так холодно обращаться с ним после истории с Катей (Володимировой), и как страдал, когда я подружилась с М(ещерским), когда я уехала, когда заболела и, наконец, когда скоро после болезни услышал, что я выхожу замуж.

Чтение этого письма было ужасно мучительно – я не знала, что делать. С моим обыкновенным недоверием и особенно к нему, после всех сплетен, я просто не верила тому, что он мне говорил и писал, – по крайней мере, вполнину не верила. Отчасти мне было жаль его, но вдруг мне приходило в голову сомнение: не комедия ли все это? Жена ему нужна, я попала под руку кстати, вот он и выдумывает разные разности, чтобы убедить меня, что он страстно влюблен. Или он думает о нашем состоянии? Эти вопросы, сомнение вообще, меня ужасно мучали; однако я видела, что (он) страдает, и не могла верить, что все – выдуманная роль. Середь письма я приостановилась и хотела что-то сказать. По моему спокойствию он ясно видел, что я могу только отрицательно отвечать; поэтому он мне не дал время сказать слово, а стал просить не отвечать.

– Ради бога, не отвечайте, я знаю ответ, пощадите меня, нет, нет, умоляю вас не отвечать!

В тоне его было столько страдания и отчаяния, что я опять подумала, что, может, все это правда. В конце письма он меня тоже просил не отвечать, если ответ отрицательный. Вследствие чего мое молчание было само по себе ответ. Кто-то вошел в это время, и мы продолжали урок: он успел меня умол(и)ть “être bonne”^{330*}, как (бы) говоря, не отгаликивать его, позволить ему приходиться, видеть меня по-прежнему; я обещала, что не переменюсь; сказала, что если он хочет присутствовать при чтении на следующий день, то может прийти к нам в Villino della Torre. Он не пришел; я его два дня не видела. Узнала, что он был у Саши и был в таком состоянии, что Саша ничего не мог понять, думал, что он сошел с ума. На третий день я была в Casa Fumi; Володя был болен, Levieg приходил несколько раз в день¹. Он подошел ко мне в этот раз, сказал, что ему нужно поговорить со мной наедине; я, конечно, удивилась, испугалась – думала, что, может, дело идет о Володе – но вместе с тем как-то неясно предчувствовала, что, может быть, он заговорит о Пенизи. И в самом деле, он серьезно и с очень озабоченным видом спросил меня, извиняясь за нескромный вопрос, не было ли что-нибудь между мной и Пенизи на днях?

– Отчего вы это спрашиваете?

– Пожалуйста, извините, вы знаете, что я никогда не вмешиваюсь в дела других, но, видя П(енизи) в таком состоянии страшном, я считал долгом друга прийти и расспросить вас, надеясь понять, в чем дело и нельзя ли как-нибудь помочь ему.

– Неужели он в самом деле болен? Если б вы знали, как он меня удивил на днях. Он вам ничего сам не рассказывал?

– Нет, ничего сначала, но я догадался – нетрудно было догадаться, что он неравнодушен был к вам; иногда я его даже дразнил намеками, но он всегда протестовал, уверял, что все вздор, что мне кажется, и прекращал разговор.

– Третьего дня вечером он мне дал длинное письмо и заставил меня прочесть в его присутствии, помните, когда вы взошли во время нашего урока.

– Помню. Ночью, именно после этого письма, я долго работал; вижу, что у него все горит свечка; был уже третий час, я побежал к нему; он разбирал бумаги, сжег множество, другие клал в кучу, потом останавливался, сидел молча в таком мрачном отчаянии, что я стал серьезно беспокоиться. Вопросов моих он не слышал или не хотел отвечать, а повторял, как будто про себя: “Можно ли так ошибаться?”

– Но, боже мой, что же это значит? Левье, уверяю вас, что никогда ни словом, ни движением, ни намеком не обманула его, т.е. не анкуражировала^{331*} его, – да вы сами подумайте – вы знаете, что после всего того, что я слышала о нем, после истории с Катей, я одно время имела почти отвращение к нему и была ужасно холодна к нему. Но как не жалеть его в его несчастном положении?

– Уверяю вас, что это все клеветы и что в Катиной истории он не виноват.

– Ну да я сама не была уверена, кто из них был виноват, и мало-помалу преодолела свое чувство, стала по-прежнему учтиво-любезна с ним. А уроки я согласилась да-

^{330*} быть доброй (франц.).

^{331*} поощряла (от франц. encourager).

вать ему, потому что в самом деле жалела его, – вам некогда было; потом я, серьезно, не подозревала, что он равнодушен ко мне, мне было приятно быть ему полезной.

– Однако, кажется, он хоть немножко надеялся.

– Это невозможно, Левье! Я тут совсем не виновата: помилуйте, я ему отказываю во всем – он меня просил гулять с ним, то верхом ездить, то давать мне уроки – и то, скорее, для того, чтобы другие об этом не говорили, чем для него, потому что я ни секунды не подозревала, что у него серьезное чувство ко мне. Все его комплименты и фразы мне надоедали, я их принимала за итальянское пустословие и часто его останавливала, смеясь над ним. Боже мой, если б я минуту одну подозревала, что часть этого – истина, ведь я не стала бы его мучить. Ради бога, скажите мне откровенно, уверены вы, что все это истина, что тут следа нет комедии? Я так привыкла сомневаться и не доверять, особенно ему.

– Помилуйте, какие тут шутки? Я две ночи сидел у него, боясь отходить от постели, Бог знает, что б с ним было. Я от роду ничего подобного не видел, и, если мы его не успокоим, дело может кончиться плохо. Скажите мне, для него нет никаких надежд? Я не знал, чем его успокоить ночью, стал уверять его, что он, верно, ошибся, обещал вас лично спросить.

– Что я могу вам отвечать, вы теперь знаете: не могу же я ему обещать что бы то ни было, зная, что я ничего не чувствую и никаких вероятностей не вижу.

Л (е в ь е). Что я с ним начну? По крайней мере, будьте добры с ним, как вы были до сих пор, он вас умоляет не отталкивать его.

Я. Да я и не думала отталкивать его и тем больше буду снисходительна и осторожна теперь, что знаю и начинаю верить, что это серьезное чувство. Пусть он приходит по-прежнему.

Ясно, что этот разговор меня ужасно взволновал: мне было так больно думать, что он до такой степени страдал, он, который без того так мрачен и несчастен; я была так сердита на себя за легкий тон, с которым я принимала, и вполнину только слушала, что он мне говорил по временам; я себе представляла его страдания и едва могла удержаться от слез. Это мучительное состояние продолжалось еще несколько дней, пока Левье мне не сказал, что ему надобно дать решительно крошечный луч надежды, чтобы его оправить.

Л (е в ь е). А то я не знаю, что из него выйдет: все дела он свои бросил, вчера пропустил важнейшее заседание в министерстве; вы понимаете, что это не может продолжаться.

Я. Что же я ему скажу, что я могу ему обещать, не обманывая его?

Л (е в ь е). Он болен, за ним надобно смотреть, как за больным ребенком. Малейший знак симпатии с вашей стороны его оживит, а это необходимо! Его убивает отсутствие всякой надежды, сознание, что что бы он ни сделал, что бы ни сказал, ничего не переменится.

Я. Да чем же я могу помочь?

Л (е в ь е). Скажите, например, что хотя вы теперь ничего не чувствуете, что, может быть, когда поближе познакомитесь, через год, два, три, даже четыре – для него время решительно ничего не значит – может быть, тогда переменится многое, или, пожалуй, скажите ему, что через год будете с ним опять говорить об этом.

Я. Вот последнее я бы скорее могла сказать. Но скажите мне откровенно, вы не думаете, что это пройдет само по себе?

Л (е в ь е). *De tout autre j'aurais dit oui, mais de lui comme je le connais – non*^{332*}, – отвечал мне Левье после молчания. Потом прибавил: – Но отчего вы имели и имеете такое дурное мнение о нем? Уверяю, что это клеветы, мне больно видеть, что вы им верите; я хочу, чтобы вы непременно узнали его как он в самом деле, а не как его представляют. Это слишком несправедливо...

¹Володя – новорожденный сын А.А. Герцена. В 1869 г. он тяжело болел. Его вылечил, или, вернее, спас, Левье.

^{332*} О всяком другом я сказал бы *да*, но о нем, насколько я его знаю, – *нет* (франц.).